

Дальняя станция

Спокойно, парень. Выдох: «Ом-м-м-м»,—полезен загнанным нейронам.
Вагончик тронулся (умом). По сути, заодно с перроном.
Делю с попутчиком еду: два помидора, хлеб и сало.
На дальней станции сойду, где ни названья, ни вокзала.

Умчится прочь локомотив. А я останусь в брызгах света,
с советской песней совместив хайнлайновские двери в лето;
найду ответ у сонных трав, о чём мне карма умолчала,
себе с три короба наврав, что можно жизнь начать сначала.

Такой покой, такой уют воспел бы Пушкин и Овидий.
Здесь птицы песенки поют, каких никто не евридел,
здесь я однажды всё пойму под ветерка неспешный шорох,
здесь я не должен никому и сам не числюсь в кредиторах.

Какое счастье, господа,—брести от дактиля до ямба
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да каррамба,
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!

Увы, пора открыть глаза. Мечтанья свойственны Сизифам.
Нет в рукаве моём туза. Покуда миф остался мифом.
Но всё ж в неведомом году я, опыт накопив бесценный,
на дальней станции сойду. Достоин. Как артист со сцены.

Победа гуманизма

Своё недокричав и недоколобродив,
в азарте не успев нажать на тормоза,
нестройная толпа голосовавших «против»
разгромлена толпой голосовавших «за».
Победен прессы тон. Гудят ватсаппы, скайпы,
а Ното, как всегда, к собратьям lupus est.
Вот доброволец. Он снимает с трупов скальпы
и надевает их на свой тотемный шест.
И наконец покой приходит долгой драме,
достойный золотой рифмованной строки...
Усталое Добро (как надо, с кулаками)
пытается отмыть от крови кулаки.
Вот славный журналист—задорная харизма,
знакомый по тv чарующий оскал...
О, как ты хороша, победа гуманизма
над теми, кто его иначе понимал!
Пойдет отсчёт с нуля великим этим годом,
начнётся с точки А прекрасный светлый путь...
Как воздух нынче свеж! Он полон кислородом,
поскольку меньше тех, кто б мог его вдохнуть.

Поэто-пейзаж

Замер сказочный лес, прорежённый опушками,
над которыми лунная светит медаль.
Спит земля до утра—не разбудишь из пушкина,
и молчит до утра заболоцкая даль.
Ночь на день обменять—не проси, не проси меня,
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи...
Спит летучий жуковский на ветви осиновой,
двух крыловых на спинке устало сложив.
Тёплый воздух дрожит предрассветною моросью,
серой змейкой застыл обезлюдевший шлях...
Что-то шепчут во сне пастернаковы поросли,
сонмы диких цветяевых дремлют в полях.
Проползает река вдоль пейзажа неброского
и играет огнями—живыми, как речь.
И её пересечь невозможно без бродского,
всем не знающим бродского—не пересечь.
Всё, что мы не допели, чего не догрезили,
тает в сонном, задумчивом беге планет...
Жизнь пройдёт и останется фактом поэзии.
Смерти, стало быть, нет.
И беспамятства нет.

Парадизо

Над прошлым—бурный рост бурьяна;
и да, прекрасная маркиза,
всё хорошо. Зубовный скрежет—
союзник горя от ума.
Но еженощно, постоянно
в кинотеатре «Парадизо»
зачем-то кто-то ленту режет
с моим житейским синемá.

Бандиты, демоны, проныры—
ночная гнусная продлёнка...
На кой им эти киноленты?
Кто заплатил им медный грош?!
Но остаются дыры, дыры,
и грязь, и порванная плёнка,
разъединённые фрагменты...
Причин и следствий—не сведёшь.

Несутся по одноклейке
воспоминания-салазки.
Смешались радости и горе
в бессмысленную кутерьму...
И я, кряхтя, берусь за склейки;
дымясь, придумываю связки.
Кино, хоть я не Торнаторе,
я допишу и досниму.

На факты напозают числа
и с разумом играют в прятки.
И я блуждаю, словно странник
в туманной горечи стиха,
ища тропинки слов и смыслов
среди их трагической нехватки:
давай, давай, киномеханик,
раздуй, раздуй киномеха.

Горб

Зимой (хоть это не для всех, а лишь для мыслящих инако)
встаёт во всей своей красе горб вопросительного знака,
и тень, отброшенная им на замерзающие лужи,
одним велит напиться в дым, другим — чего-нибудь похуже.

Мы были зряшно рождены; в подборе целей — оплошали.
А в небе бледный шмат луны — как сыр, обгрызенный мышами.
Банальности взрезают тишь расстрельной россыпью курсива.
«Красиво жить не запретишь». «Быть знаменитым некрасиво».

И хоть ругайся напоказ бессильно и пустоголово
на ускользнувшую от нас мерцающую сущность слова,
мы замерли, как корабли в литографическом овале:
одни лишь гении — смогли, а остальные — спасовали.

И не для нас хмельная высь, где реют божества в хламидах.
Ведь можно проще, согласись: ненужный вдох, никчёмный выдох.
Тирадой пьяного жлоба, лишённой смысловой нагрузки,
нас ждёт стандартная судьба миллионов пишущих по-русски.

Не избежать тоски и драм. Надежда, словно шарик, сдулась.
Вопроса знак являет нам интеллигентскую сутулость.
И, как всегда, декабрь — большой любитель жертвоприношений.
А мы, уставшие душой, легко согонимся на мишени.

У подъезда

Мне светила февральского неба холодная бездна,
под ногами сновал бесприютный отряд голубей...
А я девушку ждал, а я девушку ждал у подъезда.
Сам подъезд был закрыт, и вовнутрь не попасть, хоть убей.

Столбик Цельсия к вечеру падал всё ниже и ниже.
Как сказал бы Аверченко: «Очень хотелось манже».
Я же, кутаясь в куртку, смотрел, как пленительно брызжет
тихий свет из окна твоего на шестом этаже.

А мороз наступал — повсеместный, победный, подвздошный.
Мой был сломан компас. Я, как бриг, потерял берега...
И отнюдь не спасали ботинки на тонкой подошве
(«Пневмонию подхватишь, — язви! Ипполит, — и ага!»).

Был я вещь в себе, на обочине дел и событий,
обречённым на гибель, как в разинской лодке княжна...
Ты должна была выйти. Зачем-то должна была выйти.
Я сейчас ни за что не упомяну, какого рожна.

Мне не вспомнить уже тех сюжетных причудливых линий,
но нет-нет да припомнится в странном предутреннем сне:
свет надежды в душе оседал, как нетающий иней
на небрежно мелькнувшем поодаль трамвайном окне.